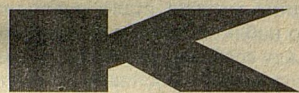


Сегодня - 1996. - 22 марта. - с. 10

Перед тьмой

Памяти Кшиштофа Кесльёвского

Илья Лепихов



К ончина Кшиштофа Кесльёвского пока еще не всеми осознается как трагедия. Между тем эта смерть не просто скорбная гримаса судьбы или печальное происшествие. Уход Кесльёвского означает настоящую катастрофу, от последствий которой киноискусство может не оправиться вовсе. Мир потерял величайшего художника и мыслителя, чье наследство — очень хотелось бы ошибаться — едва ли в скором времени окажется востребованным. Для тех, кто не видел «Декалога» или остался безучастным к его внешне неказистым стати, скажу просто: умер Гений.

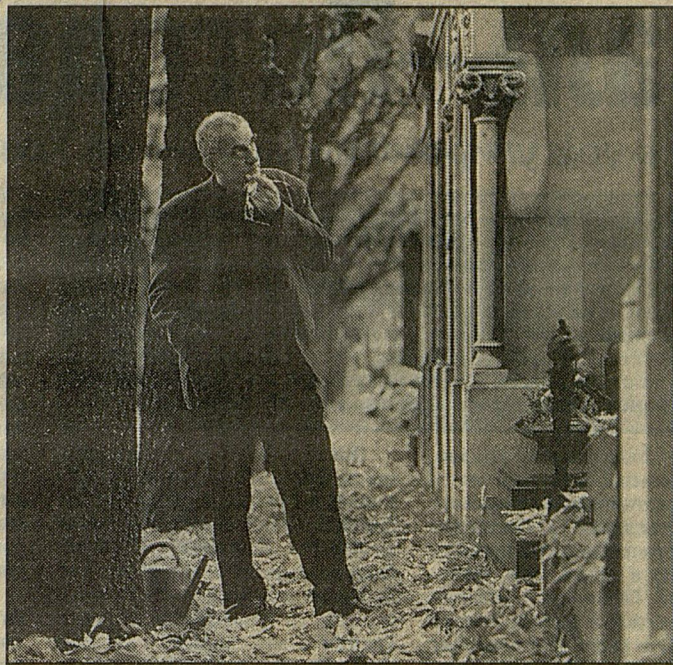
Это был очень странный гений: флегматичный до скептицизма, страстно алчущий понимания и вместе с тем тушующийся, боящийся быть воспринятым всерьез, тихий и пронзительный дар. Кажется, ни единый кинематографический режиссер прежде не обладал такой силой подлинного чувства, как это выходило у Кесльёвского: персонажи его фильмов не просто млели от невзгод и выворачивались в судорожной пляске счастья — они жили. Невозможно объяснить, невозможно понять, нельзя определить в каких-то скучных терминах то, что разворачивалось на экране. Там жили, и это можно было увидеть, а потом уже решать: следует ли впустить в себя эту сумеречную муть или раздраженно рвануть молнию под шею — все зависело только от твоего выбора. В его фильмах люди оставались собой: завтракали на бегу, торопились на работу, смотрели в глаза друг другу и, засыпая, полуплещимся языком выговаривали кому-то неразличимому за темной своей обиду и печаль. Удивительные лица, удивительные глаза, правда, для которой еще не придумано слов.

Кино все еще не стало искусством. И по сей день всего лишь профессия, занятие, полубессознательное развлечение взрослых и сильных мужчин. Тот же баскетбол, только сыгранный по запутанным прави-

лам: поиди пойми, где тут прячут сетчатую дырку, в которую нужно засандалить двумя руками сверху. Удивительный мир: кособокий ларец, расписанный изнутри. Так просто заблудиться и забыть, зачем в аппарате крутится пленка, и решить, что главное — ты сам, твои неврозы, твои представления, твои принципы. Как только закрадывается подобная мыслишка — тут-то и наступает гибель. Не выключайте телевизор. Вот они: музей движущихся восковых персон, галерея покойников, людей, обрушившихся вовнутрь себя и оттого смертельно боящихся рентгена. Я хотел бы сказать, что Кесльёвский был не такой, как другие, лучше там или умнее, но это все не так.

Кесльёвский был один. Единственный. Живой человек в нескончаемом кладбищенском калейдоскопе. И вот он умер. Его нет. Осталась урна с прахом. Камень над землей. Сочетание золоченых букв. История.

Уже несколько лет назад, не особенно напрягаясь, можно было оценивать его место и вклад в кинопроцесс второй половины двадцатого столетия. Получалось красиво. Имена, словно бусины, сами цеплялись на нитку рассуждений, и выходило так, что именно в кинематографе Кесльёвского восточно-европейский кинематограф достиг кульминации, впитав в себя и оправдав собой как примитивизм франко-британских шестидесятых, так и яркую обертку лжи семидесятых годов, прилипшую к обеим сторонам железного занавеса. Далее следовало говорить о центрально-европейском сознании, о Европе от Атлантики до Урала, о католическом ренессансе и, конечно же, эстетическом Сопротивлении, ради которого, кажется, и вообще некогда явился на свет польская государственность. В период бархатных революций вся эта красивая словесная шелуха была кому-то нужна и, по-видимому, кем-то почиталась за правду. Я помню это, поскольку сам был слеплен из такого теста. Нас тогда нельзя было назвать заблуждавшимися или прекраснотупыми. Мы не были тогда глупы — просто тогда были не мы. В наших костях уживались какие-то



КШИШТОФ КЕСЬЛЁВСКИЙ. ОСЕНЬ 1992-ГО, КЛИШИ

странные создания, исполненные неземного, пленительного идиотизма, грезившие не то чтобы фантомами или химерами, а — что того хуже — принимавшие плоды своих фантазий за некоторые мысли по поводу бытия. Как ни странно, действительность оказалась внешне во многом сходной с тем, какой представлялась, разве только совсем другой на вкус. Пугающе, до слюноотделения другой.

Я не знаю, когда Кесльёвский ощутил отчуждение от иллюзий: в братском угаре «Солидарности» или мертвенном горении позднейших лет, унаследованных Ярузельским. После «Декалога» он снимет «Двойную жизнь Вероники», картину скорее неудачную, уже не медленную, а вялую, и вместе с тем ошеломляюще, надсаженно-умную. Очень грустный фильм о том, как нельзя привыкнуть к жизни, как невозможно довольствоваться только любовью, радостью и печалью после того, как ты привык к поединку, ежедневной схватке за право предположить себя честным, достойным и настоящим, во всех смыслах полноценным человеком. Борьба за полноценность, по Кесльёвскому, оборачивалась смертью, счастье представало каким-то памперсом, карамельной отрадой, утешением младенцев. Все можно объяснить: сказать, что соревнование Запад—Восток закончилось поражением обеих сторон, обличить обступавшие нас безбожие и терпимость к

пороку, посетовать на ненужность искусства обживаемой нами повседневности, тем более что позднейший цикл Кесльёвского предоставляет к тому превосходные резоны. Все это будет насилием и неправдой: слишком плоско и пошло, чтобы проникнуть в кровь.

Картины, сделанные им, очень просты. Снятые в разное время, в разных условиях, они об одном. На свете нет ничего, кроме того, что воистину существует. Противиться, смиряться, подвергать осмеянию или просто озадаченно фыркать — твое личное решение, от которого — парадокс? — все и зависит. Стоит открыть глаза — и ты увидишь истину, стоит зажмуриться...

Вот и вся печаль, вот и вся философия, вот и вся мудрость. Так просто, что хочется разбить себе голову в кровь и кричать, кричать до хрипоты, выть и вырываться до жениного причета и снова кровавить кулаки до кости, чтобы почувствовать боль и понять, что ты жив.

Он умер.

Как непривычно сознавать потерю, вдруг обнаружить, что отныне не от кого услышать те единственные слова, которые даруют надежду и успокоят всех, кто хочет продолжать путь. Остаются только небо и воздух. Неразборчивое бормотание сфер. Истрепанная, влияющая книжка предписаний. Буквы не желают выстраиваться в затылок друг другу. Теперь нам самим следует оттаивать их смысл.